

Асмодей Денница



18+

Асмодей Денница

ЧЁРНАЯ ЛИТУРГИЯ

«Автор»

2026

Денница А.

ЧЁРНАЯ ЛИТУРГИЯ / А. Денница — «Автор», 2026

Париж, 1702 год. Под блеском версальских балов и пудрой аристократических спален — темнота, которую король приказал забыть: чёрные мессы, оргии знати, яды, проданные души и кровь, льющаяся у алтарей. Знать Франции служит той, что старше неба и земли. А когда в склепе Сен-Медерик находят убитую послушницу с выжженной на ладони меткой Пяти Врат и сжатым в руке медным ключом с розой, — орден посылает на войну свою лучшую охотницу. Вивьен де Кормье, ведьма и следователь тайного ордена Хранителей, под маской куртизанки Изабо входит в круг высшей знати, где пьют кровь, продают проклятия и служат «Литургию пробуждённых». Она должна собрать имена, досье и доказательства преступлений, о которых молчат даже при дворе. Но у круга свои планы на неё: в её жилах течёт кровь той, кого сожгли — и не сожгли. Той, кого называли Вдовой. Той, кто научила семь женщин открывать двери, за которыми не должно быть открыто никому. Теперь двери открываются сами. Эротико-мистический детектив-триллер.

© Денница А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. Северный ветер	5
ГЛАВА 1. Маскаиз кожи	15
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Асмодей Денница ЧЁРНАЯ ЛИТУРГИЯ

ПРОЛОГ. Северный ветер

Париж, ноябрь 1702 года

Врата не любят соль. Они любят выбор.

В ту ночь Париж был холоден, как внутренняя сторона щита. Северный ветер срывал с крыш последние листья и швырял их в Сену, где они тонули, не долетев до воды, — мёртвая золотая чешуя на чёрном стекле. Луна пряталась за тучами так старательно, словно ей было что скрывать, и под этой луной по улице Сен-Медар шла женщина в плаще цвета воронова крыла.

Её звали Вивьен де Кормье, но это имя не значилось ни в одной приходской книге королевства. Париж знал её как Изабо Дюплесси, вдову, у которой умер муж-нотариус, — Изабо, чьи духи пахли ладаном и горьким миндалём, Изабо, у которой никогда не было времени на вопросы. А та, что шла сейчас по скользкой мостовой, не была Изабо. Она была Ведьмой Западных Врат, и в левой руке у неё лежал кинжал с рукоятью из обсидиана, и рукоять эта была тёплой, хотя ночь стояла ледяная.

Ветер выло, будто его заперли в трубе и забыли выпустить. Вивьен шла быстро, но без спешки — так ходят люди, знающие путь наизусть и не желающие привлекать к нему внимание. Дважды её окликали ночные стражи, и дважды она отвечала низким голосом, не оборачиваясь, и стражи решали, что не расслышали. Она им не врала. Она просто убирала их из своей реальности, как убирают пальцем пыль с зеркала.

Церковь Сен-Медерик стояла на углу, вросшая в землю по самые окна, старая, тёмная, с контрфорсами, похожими на сложенные для молитвы ладони гиганта. Дверь склепа была приоткрыта. Это само по себе было неправильно — склеп рода де Кормье запирался на замок, который умел открывать только один человек в Париже, и этот человек стоял сейчас перед дверью.

Вивьен положила ладонь на замок. Железо было холодным, но под холодом, как под корой старого дерева, она почувствовала дрожь. Не ту дрожь, что оставляет тепло человеческой руки. Другую. Ту, что оставляет дыхание.

— Элоиза, — сказала она вслух, и ветер съел её голос. — Я здесь. Прости, что не раньше. Она толкнула дверь.

Склеп пах воском, сыростью и тем особенным запахом, который не спутать ни с чем, если ты хоть раз его вдохнул: запахом тела, которое уже перестало быть телом и стало вещью. Вивьен зажгла огонь на кончике пальца — не фокус и не фейерверк, а просто вспышку воли, тонкую, как игла, — и пошла вниз по каменным ступеням, где каждая ступень помнила сто лет шагов её семьи.

Саркофаги стояли вдоль стен, как пассажиры в ожидании поезда. Род де Кормье хоронил здесь своих мёртвых с тех времён, когда Париж был деревней на острове, и мёртвых было много. Вивьен не смотрела на них. Она смотрела в самый дальний угол, туда, где под низкой аркой лежала плита с выбитой датой — 1610 год — и где плита эта была сдвинута.

— Нет, — сказала она. — Только не сюда.

Элоиза лежала на плите, накрытая чёрной тканью, которая когда-то была тонким кружевом её платья, а теперь походила на саван. Вивьен узнала её по руке. Рука лежала поверх ткани, белая, восковая, с аккуратными ногтями, и в этой неподвижности было что-то настолько окончательное, что у Вивьен на миг перехватило дыхание.

Она опустила на колени рядом. Сняла ткань.

Элоиза смотрела в потолок склепа широко открытыми глазами, и в них не было ни ужаса, ни покоя — только чистое, пустое удивление, как у человека, который до последней секунды не верил, что это происходит на самом деле. Горло у неё было перерезано одним движением — чистым, почти любовным, от уха до уха. Это сделал мастер. Это сделал человек, который резал так много раз, что забыл, как это — в первый.

Но не рана заставила Вивьен втянуть воздух сквозь зубы.

Она взяла руку сестры. Пальцы уже застыли в судороге, но ладонь была раскрыта — так раскрывают ладонь, когда протягивают что-то заботливо и бережно. И в этой ладони, будто в чаше для причастия, лежал ключ.

Ключ был маленький, медный, с головкой в виде розы. Такими ключами запирают шка-тулки, в которых женщины держат письма, локоны, засушенные цветы и тайны, слишком тяжё-лые для сундуков.

Но не это было страшно.

Страшно было то, что лежало под ключом. На ладони Элоизы, на месте, куда ложится ключ, была выжжена метка — пять концентрических кругов с точкой в центре. Пять Врат. Знак ордена Хранителей Западных Врат. Знак, который не носит никто из живых, потому что его наносят только на тела ушедших — и только один раз, в самый последний обряд.

Его выжгли ещё до того, как перерезали горло. Кожа вокруг метки была омертвевшей и тёмной, как старая сургучная печать.

— Кто? — прошептала Вивьен.

Она говорила не вслух. Она говорила той частью себя, которая видит то, чего не видят глаза. И та часть ответила.

Метка была не свежая. Она была старше, чем тело, на котором её выжгли.

Вивьен провела пальцем по краю круга и почувствовала то, от чего у неё похолодела спина, хотя всю жизнь её учили не бояться холода: метка была выжжена на живой руке. Элоиза носила её при жизни. Месяцами. Может, годами.

А потом кто-то разрезал ей горло и положил ключ в ладонь, вложив его в метку, как в гнездо.

Потому что ключ и метка были одной вещью.

Вивьен закрыла глаза. Прижала ключ к виску. Он был холодный, но под холодом, как под корой, — опять это дыхание; дыхание под железом, как дыхание под корой старого дерева.

— Элоиза, что ты мне оставила? — спросила она.

И ключ ответил. Не словами — слова для этого слишком грубый инструмент. Он ответил образом, как отвечают предметы, если уметь слушать: маленькая шкатулка, обитая алым бар-хатом, на дне которой лежит что-то, отчего у Вивьен сжалось сердце; шкатулка на туалетном столике в покоях, где пахнет розами и пудрой; шкатулка, которую Элоиза украла у женщины, чьё имя знает вся Франция.

— О Господи, — сказала Вивьен. — Что ты наделала, сестра?

Она поднялась. Ноги не слушались, но она заставила их слушаться. Она сняла с себя плащ и укрыла тело, как укрывают спящего ребёнка. Потом, помедлив, поцеловала Элоизу в лоб — в тёплое ещё место между бровями, куда не дошёл холод.

— Я найду их всех, — сказала она. — Каждого. Я обещаю тебе это. Не потому, что орден прикажет. Потому что я тебе это обещаю.

Она выпрямилась и стояла над телом, пока ветер выл наверху, в замках Сен-Мёра, той самой церкви, где в 1702 году, под этим самым ветром, начиналась история, которую никто не решался рассказывать вслух.

В левой руке у неё лежал ключ. И рука была тёплая, как живая.

Она не помнила, как вышла из склепа и как пересекла Париж. Помнила только, что ветер стал ещё злее, а луна так и не показалась, и город был чёрен и пуст, как покинутая сцена, с которой разбежались актёры — все, кроме одного.

Когда она вернулась в дом Изабо Дюплесси на улице Турнель, и заперла дверь, и зажгла свечу дрожащей рукой, — только тогда она позволила себе сесть. Сесть, потому что ноги не держали. И заплакать, потому что больше нельзя было не плакать.

Элоиза была ей не родной по крови. Они были сёстрами по ордену, по Вратам, по той молчаливой клятве, которую приносят девочки в семь лет, когда им впервые показывают, что мир на самом деле состоит из двух половин, и одна из половин — не для слабых. Элоиза была старше на шесть лет, и все эти шесть лет она была для Вивьен тем, чем бывает старшая сестра: стеной, за которой можно прятаться, и факелом, по которому можно сверять путь. Она учила Вивьен читать следы, слушать камни, говорить с мёртвыми и не бояться их. Она же научила её одному, чему не учили в ордене, — что за стенами Врат есть вещи поважнее Врат.

— Ты не принадлежишь им, — говорила Элоиза, когда они лежали ночами на чердаке Дома, ворочаясь от детских страхов и взрослых тайн. — Ты принадлежишь себе. Они дали тебе метку — а метку можно снять. Они дали тебе имя — а имя можно сменить. Но то, что внутри, — это не они. Это только твоё.

Вивьен тогда не понимала, что она говорит. Теперь — поняла. Элоиза не была жертвой. Элоиза охотилась. Элоиза шла по следу, по кровавому следу, тянувшемуся от бархатных ложниц Версаля до осквернённых подвалов, на которых служили мессу, не имеющую отношения к Богу. И она нашла что-то. Что-то, за что её убили.

Ключ лежал на столе, между свечой и стаканом вина, которое Вивьен не притронулась пить. Он поблёскивал в желтоватом свете, невинный, как медяк на базаре.

Вивьен взяла его. Снова прижала к виску. Снова услышала — нет, не услышала, почувствовала кожей: шкатулка, алый бархат, запах роз и пудры, имя женщины, которая не мыла эту шкатулку, потому что не мыла руки.

Франсуаза-Атенаис де Рошшуар, маркиза де Монтеспан. Фаворитка короля. Мать его детей. Женщина, имя которой королевские историки выскребали из документов, как выскабливают плесень со стены, — и она, эта женщина, поддерживала в Париже не салон, а нечто другое.

Элоиза украла у неё ключ.

Элоиза украла у неё что-то, что та держала под ключом.

Элоиза умерла с этим ключом в руке, вложив его в свою метку, как в гнездо.

— Ты оставила мне загадку, — сказала Вивьен ключу. — Ты знала, что меня не остановить. Ты знала, что я пойду.

Она сжала ключ в кулаке так, что он врезался в ладонь, и посмотрела в тёмное окно, за которым шумел северный ветер, — в окно, за которым, в тридцати милях отсюда, в блеске свечей и позолоты, спал король, и под его спальней, в подвалах его собственного королевства, шевелилась тьма, которая не имела имени, но имела вкус.

— Я пойду за тобой, — сказала она. — И я приду с ответами.

Дом Западных Врат стоял в предместье Сен-Жермен, в тупике, которого не было ни на одной карте Парижа и не будет ещё двести лет. Снаружи это был ветхий особняк с облупленным гербом над воротами — гербом, на котором какой-то древний каменотёс выбил пять кругов и точку, приняв их за семейный орнамент. Внутри особняк был куда больше, чем снаружи. Так всегда бывает у тех, кто охраняет границы между мирами: пространство в таких местах ведёт себя смиренно и подчиняется хозяевам. По крайней мере, пока хозяева помнят, кто они.

Вивьен вошла через кухонную дверь, как входила всегда, — Хранители не любили парадных ходов, парадные ходы любят вопросы. Кухня была пуста, на столе остывал огарок свечи, и

под потолком в три ряда висели связки сушёных трав: полынь от духов, зверобой от призраков, тысячелистник от лжи. Вивьен прошла сквозь запахи, как сквозь воду, и спустилась в архив.

Архив Дома занимал три подземных этажа, и на каждом из трёх хранение было устроено по-своему: на первом — книги, на втором — свитки, на третьем — память. Третьего этажа она сейчас избегала. Ей нужно было другое. Ей нужен был слепой.

Гарен, хранитель архивов, сидел в своей келье за столом, заваленным бумагой, и читал — читал руками, проведя сухими пальцами по строке, как по гребню волны. Он был стар так, что возраст его переставал быть числом и становился породой дерева; седые волосы падали на плечи, глаза были закрыты навсегда — их выжгли сорок лет назад тем же способом, каким теперь выжигали метки. Услышав шаги, он поднял голову.

— Вивьен. — Он не спрашивал. Он знал. — Ты пришла одна.

— Да.

— А я думал, ты придёшь с ней.

Вивьен опустилась на скамью напротив. Горло сжалось, но она не позволила голосу дрогнуть.

— Я пришла с этим.

Она положила ключ на стол. Гарен не притронулся к нему. Он провёл пальцами по воздуху над ключом, как над строкой книги, и лицо его сделалось неподвижным.

— Медь, — сказал он. — Чужая. Долго лежала в женских руках. В руках, которые пахли розами. И... — Он замолчал. Пальцы его дрогнули. — И железо. Она касалась железа. Холодного железа. Давно.

— Это ключ от шкатулки маркизы де Монтеспан, — сказала Вивьен.

Гарен не удивился. Слепые архивариусы не удивляются ничему — они всё уже прочитали.

— Значит, Элоиза дошла до неё, — проговорил он. — Я думал, она дойдёт. Я боялся, что дойдёт.

— Ты знал, чем она занимается?

Он долго молчал. В углу, в клетке, кто-то — Вивьен не видела кто — скрипел пером по бумаге, и скрип этот был единственный звук в комнате, кроме их дыхания.

— Я знал, что она охотится, — сказал Гарен. — Я не знал, насколько глубоко она зашла. Она приходила ко мне, спрашивала о деле о ядах. О том, что называли «делом» и «позором королевства» и хоронили по всей Европе, как хоронили тела отравителей — втихую, ночью, без отпевания. Она хотела знать, где правда, а где вымысел.

— И ты ей сказал?

— Я сказал ей то, что есть. Тридцать лет назад, в 1672-м, нашли первый сосуд с ядом. Через год — ещё один. Потом нашли Камеру, — он выговорил слово по-латыни, — *Chambre ardente*, Комнату пылающую, суд, который король учредил, чтобы расследовать отравления. И в этой Камере, среди обвинённых, среди отравительниц и колдуний, судьи нашли нити, которые вели не вниз, в подвалы, а вверх — к самым верхам. К тем, кто носил короны и прав был на них не больше, чем нищий.

Вивьен слушала, не перебивая. Ветер за окнами кельи выл всё громче, и казалось, что он тоже слушает.

— Суд сожгли, — продолжал Гарен. — Протоколы засекретили. Свидетелей заставили замолчать навсегда — кто по доброй воле, кто по доброй воле с приставленным к виску пистолетом. Дело закрыли в 1682-м, когда король устал бояться. Но правда осталась. Она всегда остаётся. У неё дурная привычка — не сгорать.

— И Элоиза нашла её?

Гарен поднял незрячие глаза к потолку, где между балками гуляла та же дрожь, что и под крышкой склепа.

— Элоиза нашла больше, чем правду, Вивьен. Она нашла то, что прятали под правдой. Ты знаешь, что такое «сады Отравы»? Так двадцать лет назад называли не дом, а круг людей, которые продавали яды и проклятия знати. Во главе этого круга стояла женщина, которую называли Вдовой. Её судили, её сожгли — так сказано в протоколах. Но у меня, — он медленно провёл рукой по груди, где под рубахой билась старая бумага, — у меня есть запись, что Вдова не умерла на костре. Запись о том, что она выжила.

Вивьен наклонилась вперёд:

— И что с ней стало?

— Её купили. Её не казнили — её купили, — повторил Гарен. — Кто-то очень богатый и очень высокий заплатил, чтобы её не было в списке казнённых. Чтобы она исчезла тихо и унесла свои тайны в никуда. Но тайны не уносят в никуда. Их прячут. А прятать их умеют только те, кто умеет ждать. Я думаю, Вивьен, что Вдова жива и теперь. И я думаю, что именно её нашла Элоиза.

Тишина в келье стала плотной, как воск. Вивьен сжала ключ в ладони.

— Гарен. Ключ от шкатулки Монтеспан. Зачем он Элоизе?

Слепой покачал головой медленно, из стороны в сторону, как маятник старых часов.

— Не знаю. Но я знаю другое. Метку на её руке — ту, что кто-то выжёт, — я поставил не я. В ордене осталось трое, кто умеет ставить живые метки: я, твоя мать — да покоится она с миром, но она ушла за Врата в 1610-м, — и... — Он запнулся. Пальцы его легли на край стола и задрожали, как струны, которых коснулась чужая рука. — И мой ученик. Тот, кого я выучил. Тот, кого мы потеряли.

— Твой ученик?

— Его зовут... — Гарен сглотнул. — Мы не произносим его имени в Доме. Он нарушил клятву двадцать лет назад. Он повернулся к Вратам спиной, а к миру — лицом, и ушёл туда, где продают то, что продавать нельзя. Мы считали его мёртвым. Возможно, мы ошибались.

Вивьен встала. В груди у неё билось что-то тяжёлое и горячее, как уголёк в золе.

— Тогда я найду его, — сказала она.

— Нет, — Гарен тоже встал, и впервые за вечер его голос был твёрдым, как кость. — Ты не пойдёшь за ним. Ты бы погибла. Ты молодая, Вивьен, ты ещё не знаешь, как выглядит тьма, которая притворяется светом. Ты думаешь, что оргии знати — это грех? Это не грех. Это занавес. За ними то, что страшнее греха, — за ними то, что страшнее смерти. И туда не ходят с кинжалом. Туда ходят с ложью, хорошо притворяющейся правдой.

— Хорошо, — сказала Вивьен. — Я пойду с ложью.

— Ты не понимаешь...

— Я понимаю, — перебила она. Голос её был тихим, но в нём звенело то, от чего слепой старик на миг отступил на шаг. — Я понимаю, что Элоиза умерла, потому что узнала то, что должна была узнать я. Я понимаю, что это не случайность и не месть — это предупреждение. И я понимаю, что, если я не пойду туда, никто не пойдёт. Орден будет хранить Врата и делать вид, что мир за ними не наступает. А мир наступает. Я чувствую его. Он уже в Париже, он в Версале, он в этой комнате, он под полом, он течёт по стенам, как вода. — Она остановилась. Выдохнула. — И потому я пойду. Я пойду в их круг. Я буду той, кого они захотят видеть. Я буду Изабо Дюплесси, куртизанкой, которая любит слишком сильно и помнит слишком мало. Они будут резать меня взглядами, а я буду собирать их имена, как собирают монеты. Я соберу их всех. И тогда... тогда мы посмотрим, кто из нас умрёт первым.

Гарен молчал очень долго. Ветер за окном стих — стих так внезапно, что тишина стала глубже, чем прежде, и в этой тишине было слышно, как гудит кровь в ушах.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Но ты пойдёшь не одна. Ты пойдёшь с тем, что я тебе дам: с именем, с адресом и с одной вещью, которую ты должна будешь отдать — или сломать свою судьбу навсегда. — Он потянулся куда-то под стол и вынул ларец тёмного дерева,

окованный серебром. Открыл. Внутри, на подушке из вытертого бархата, лежало нечто, отчего у Вивьен защипало в носу.

Это была маска. Венецианская, с длинным носом, из чёрной кожи, внутри — серебряная, и на серебре, у висков, по кругу был выгравирован орнамент: пять концентрических кругов с точкой в центре.

— Это маска Вратаря, — сказал Гарен. — Её носили трое за триста лет. Тот, кто надевает её, видит то, что скрыто. И тот, кто надевает её, делает себя видимым для того, кто ходит во тьме. Она спасёт тебя или сожрёт — зависит от того, кто ты есть.

Вивьен взяла маску. Кожа была холодной, как ключ, но под холодом...

Опять это дыхание.

— Я заплачу любую цену, — сказала она.

— Эту цену нельзя заплатить, — ответил Гарен. — Эту цену можно только отдать.

Ночью ей снился сон. Элоиза — живая, какая она была весной, перед тем как всё началось, — лежала на чердаке Дома, на стог сена, в лунном свете, и смеялась. У неё был удивительный смех: низкий, тёплый, с хрипотцой, как у человека, который знает слишком много и всё ещё находит мир забавным.

— Ты опять не спишь, — сказала Элоиза, не открывая глаз. — Смотришь на луну и придумываешь, как спасти мир.

— Я не придумываю.

— Придумываешь. Ты всегда придумываешь. Дай мне руку.

Вивьен дала. Элоиза взяла её ладонь и приложила к своей — ладонь к ладони, пальцы в пальцы, как учат в ордене, когда передают силу.

— Чувствуешь? — спросила она.

— Что?

— Ток. Между ладонями. Это не магия, это жизнь. Это то, что ты есть. Настоящая. Не метка, не имя, не клятва. Ты. И пока ты чувствуешь это — никто не может тебя забрать. Запомни это, маленькая.

— Запомню.

— Не забудь, — Элоиза открыла глаза, и в лунном свете они были странно светлыми, почти белыми, как у тех, кто уже одной ногой за Вратами. — Потому что однажды тебе понадобится это. Тебе понадобится тот, кто умеет чувствовать ток между ладонями. И это будет не тот, кого ты ждёшь.

Она поцеловала Вивьен в лоб — в тёплое место между бровями — и отстранилась, и улыбнулась, и во сне Вивьен вдруг поняла, что чердак полон роз, что пахнет не сеном, а розами и пудрой, и что по ту сторону окна стоит не Париж, а что-то другое, огромное и тёмное, и оно дышит.

Она проснулась от собственного крика.

Свеча догорала. Ключ лежал на столе. У окна, облокотившись на подоконник, стоял человек, которого она не звала, — и она не услышала, как он вошёл.

— Ты кричала, — сказал он. Голос был низкий, с лёгкой хрипотцой, и в нём было что-то, от чего у Вивьен на миг оборвалось сердце. — Во сне. Кричала так, словно за тобой гнались.

— Кто вы? — Вивьен не потянулась к кинжалу, но кулаки её сжались под одеялом. — Как вы вошли?

— Дверь была не заперта. А я... я умею входить туда, где меня ждут. — Он повернулся. Света было мало, но его хватило, чтобы разглядеть: высокий, тёмноволосый, с лицом человека, который привык командовать и ненавидит это в себе. Одет был с той небрежной роскошью, что выдаёт дворянина, потратившего состояние на портного и старавшегося об этом забыть.

Он шагнул к столу. Взял ключ. Крутанул его в пальцах.

— Медный ключ с розой. — Он поднял бровь. — От шкатулки, где лежат письма. Такие ключи дают женщинам мужчины, которые не хотят, чтобы их жёны читали чужие письма. Или... — он посмотрел на Вивьен, и во взгляде его мелькнуло что-то тёмное и весёлое, — которые хотят, чтобы их читали именно женщинам.

— Вы пришли прочитать мне лекцию о ключах?

— Я пришёл сказать тебе, что ты опоздала. — Он положил ключ обратно на стол, аккуратно, головкой к свече. — Сегодня утром, на рассвете, нашли ещё одну. Молодую женщину, в подвале дома на улице Нёв-Сен-Медар. Та же метка. Тот же способ. Она была не из твоего ордена — она была просто девушкой, которую взяли с улицы, чтобы... — Он замолчал, и на миг лицо его стало жёстким. — Пусть будет: чтобы использовать.

Вивьен встала. Внутри у неё всё похолодело и одновременно загорелось.

— Откуда вы знаете про метку?

— Я — человек, который знает больше, чем должен, — ответил он. — Меня зовут Адемар де Сюлли. Граф. И у меня к тебе предложение, Вивьен.

Он назвал её настоящее имя. То, которое не знал никто в Париже. То, которое она не называла никому, кроме ордена.

— Откуда...

— Позже, — он поднял руку. — Сейчас. Ты идёшь в их круг. Я знаю это. Я знаю, что у тебя в руке ключ, который тебе не принадлежит, я знаю, что ты ищешь убийцу, которого не существует, потому что убийца — не человек. И я знаю, что без проводника ты погибнешь в первую же ночь. — Он выдержал паузу. И улыбнулся — так улыбаются люди, которых уже ничто не может удивить, потому что они видели слишком много чужих надежд, разбитых об их собственную тьму. — Я предлагаю тебе себя.

Ветер за окном снова завыл. Свеча дрогнула, и тень графа на стене качнулась, огромная, как крыло.

Вивьен посмотрела на ключ. Потом на него.

— Вы, — сказала она медленно, — предлагаете себя.

— Да.

— Почему?

Он помолчал. И сказал — просто, как о том, что уже решено и не обсуждается:

— Потому что я тоже был там. Потому что я знаю, что они там делают. Потому что однажды я открыл дверь, которую не должен был открывать, и теперь нослю в себе то, что изменило меня навсегда. Я хочу, чтобы это закончилось. И я думаю, что ты — единственный человек, который может это закончить.

— Вы знаете, кто я такая?

— Да.

— И вы не боитесь?

Он посмотрел ей в глаза. Света было мало, но его хватило, чтобы увидеть: глаза у него были тёплые, карие, с золотой крапинкой — и в них не было страха. В них была усталость. Такая усталость, какую не лечат сном.

— Боюсь, — сказал он. — Но страх — плохой советчик. Лучше бояться и идти, чем не бояться и не знать.

Он шагнул к двери. Остановился.

— Завтра, в полночь, бал-маскарад у герцога де Рокфора. Ты придёшь туда в маске. Я буду там. Мы встретимся, как чужие, и ты испытаешь меня — как я испытаю тебя. А потом, если мы оба ещё будем живы, — мы поговорим о том, что лежит в этой шкатулке, — он кивнул на ключ, — и о том, что лежит под Парижем.

— А если я не приду?

Он улыбнулся. Улыбка у него была странная — тёплая и в то же время чужая, как солнце в чужой стране.

— Придёшь. Ты придёшь, потому что тебе это не даст покоя. Ты — человек, который не сможет оставить вопрос без ответа. Это твоя сила, Вивьен. И это твоя погибель.

Он вышел. Дверь закрылась. И в комнате снова остались только свеча, ключ, ветер за окном — и женщина, которая стояла посреди ночи, сжимая в ладони медный ключ с розой, и не знала, сделала ли она шаг к разгадке или к бездне.

Прошло семь дней. Семь дней поисков, семи дней архивов, семи дней, в течение которых Вивьен училась быть Изабо так, как не училась ничему в жизни. Она изменила походку — стала мягче, мельче, как у женщин, привыкших уступать дорогу мужчинам. Она изменила голос — на полтона выше, с той лёгкой зазорной хрипотцой, что сводит с ума дворян. Она изменила смех — научилась смеяться так, чтобы в смехе были обещания, которые не даются словами. Она выучила имена всех фавориток, всех хозяек салонов, всех тех, кто принимал в своих домах маски, оргии и тех, кто приходит после оргий, когда гасят свечи.

Из архивов она вынесла три вещи.

Первая: дело о ядах, 1679–1682. Список из ста девятнадцати имён, осуждённых Камерой пылающей. Среди них — отравительницы, колдуньи, аббаты-расстриги, монахи-беглецы, женщины, продававшие яды влюблённым мужьям и мужьям, которые хотели освободить место для новых жён. Суд сжёг тридцать шесть человек. Остальных разослали по монастырям, где они умирали медленно и тихо. Но не все. Не все. В списке было тридцать шесть имён казнённых — и было ещё одно, вычеркнутое. Зачёркнутое так старательно, что Вивьен понадобился час, чтобы разобрать буквы под чернилами.

«Мари-Катрин Дезайе». Вдова.

Вдова не сгорела. Вдова была куплена.

Вторая вещь: договор. Старый, на латыни, датированный 1610 годом, — договор между орденом Хранителей и семьёй де Кормье. По этому договору семья де Кормье снабжала орден тем, что в договоре называлось «вратами в плоти» — женщинами, которые должны были удерживать Врата своей волей и своей кровью. Внизу стояли две подписи: хранителя — и её матери, Мари-Анны де Кормье, первой Хранительницы Западных Врат, ушедшей за Врата в тот же год, когда был подписан договор.

Вивьен долго смотрела на эту подпись. Мать она не помнила. Мать умерла, когда Вивьен было три года, — так говорили в Доме. Мать ушла за Врата добровольно, так говорили в Доме. Мать была святой, так говорили в Доме.

Но в договоре было написано другое. В договоре было написано, что ушедшая за Врата не вернётся никогда, и что Врата будут держаться на ней вечно, и что вместо неё в мир придёт преемница, и что преемница должна быть той же крови.

Внизу договора, ниже подписей, чужой рукой, было приписано:

«Если печать преемницы будет слабее печати предшественницы — Врата раскроются сами. Тогда придёт время тех, кто служит по ту сторону. Они уже ждут.»

От этой приписки у Вивьен долго стучало сердце. Ибо почерк был не её матери. Он принадлежал человеку, привыкшему писать правду так, чтобы её не могли прочесть сразу, — и почерк этот она уже видела. В дневнике Элоизы. В том дневнике, который она нашла среди вещей сестры и который начинался словами:

«Тому, кто это найдёт. Если ты читаешь эти строки — значит, меня уже нет. Не ищи моих убийц. И их убийц. Ищи Врата. Врата — они, а не я. Я была лишь ключом.»

Третья вещь, которую Вивьен вынесла из архивов, была маленькая карта Парижа, на которой чьей-то рукой были нарисованы круги: три круга, вложенные друг в друга, с центром в одном и том же месте. В месте, где стояло здание, не указанное ни на одной карте.

В подвале на улице Нёв-Сен-Медар.

Так что к концу седьмого дня Вивьен де Кормье знала, что идёт не на бал. Она идёт на войну. И что оружие её — не кинжал, а лицо, которому она научила слишком много улыбок.

В ночь бала она стояла перед зеркалом в комнате Изабо Дюплесси, и зеркало отражало ей женщину, которой она вчера ещё не была.

Платье было из чёрного бархата, с глубоким вырезом, спускавшимся почти до пояса, — платье, сшитое так, чтобы быть не одеждой, а обещанием. Волосы были убраны в высокую причёску, из которой падали две чёрные пряди — то, что в Версале называли «царственные слёзы». Шею обвивала нитка жемчуга, купленная за полдень у ювелира, который слишком хорошо знал, что женщина, покупающая жемчуг без мужчины, платит не за бусы — за право перестать быть собой.

Вивьен посмотрела на себя в зеркало — на ту, что стояла по ту сторону стекла, — и та улыбнулась ей.

— Ты готова? — спросила Вивьен.

— Готова, — ответила Изабо.

Они скрепили договор до того, как выйти в ночь.

Бал у герцога де Рокфора шумел в особняке, который герцогский род выстроил на крови и деньгах, слишком старых, чтобы о них помнить, — в особняке, где между мрамором парадной лестницы прятались тёмные пятна, выведенные за двести лет и выступившие снова, как выступает плесень на сырой стене.

Вивьен вошла в зал, когда музыка играла менуэт, и на миг ей показалось, что она попала в брюхо кита: огромное, тёплое, позолоченное брюхо, где сотни людей кружились в танце, сверкая бриллиантами, как чешуя. Маски были повсюду — чёрные домино, шёлковые бауты, карнавальные маски с длинными носами, звериные морды, пастушеские и королевские личины. Здесь никто не был никем. Здесь каждый был тем, кем хотел быть, и каждый знал, что сосед — тоже не тот, за кого себя выдаёт.

Это было место, где лгали так искусно, что ложь становилась профессией.

Вивьен взяла бокал с подноса, прошла сквозь толпу, улыбаясь направо и налево, и по тому, как на неё смотрели, поняла, что платье сработало. На неё смотрели. Мужчины — с тем особым вниманием, которое она училась расшифровывать: сначала взгляд, потом два, потом поворот головы, потом шаг навстречу. Женщины — с той особой ревностью, за которой стоит не ненависть, а уважение к опасной сопернице.

Она прошла весь зал. Она поговорила с тремя герцогами, двумя маркизами и одним кардиналом ей не задавали вопросов, и она не задавала вопросов им. Она слушала. Она запомнила. Она собирала данные так, как учили в ордене: незаметно, как пыль, как запах, как шёпот за спиной.

— Прелестная маска, — сказал кто-то рядом. Голос был низкий, с лёгкой хрипотцой. — Позволит ли она мне узнать, кто скрывается за ней?

Вивьен обернулась.

Он стоял в двух шагах, в чёрном домино, с маской на пол-лица, и только глаза были видны: тёплые, карие, с золотой крапункой. Тот самый граф. Адемар де Сюлли.

— А вы, сударь, — сказала Вивьен, — позволите ли мне узнать, что скрыто за вашей?

— Это дурной обмен, — улыбнулся он. — За одной маской — лицо. За другой — правда. Я же не прошу вас снимать маску. Я прошу вас посмотреть на меня так, как смотрят на человека, которому нечего скрывать.

Он взял её руку и поднёс к губам. Губы были тёплые. Коснулись кожи — легко, на мгновение, как касаются пламени, проверяя, не обожжёт ли.

— Вы придёте со мной в малую столовую? — спросил он, не отпуская руки. — Там двенадцать человек. Там говорят правду. Там, — он наклонился ниже, и голос его стал тише, — там служат не Богу.

Вивьен почувствовала, как сердце ударило в груди, быстро и сильно, как молот по наковальне. Это был приглашение. Это была та дверь, к которой она шла семь дней. И за этой дверью, она знала, — то, что убило Элоизу.

— Я боюсь ваших правдивых людей, сударь, — сказала она, глядя ему в глаза.

— Бойтесь? — Он улыбнулся. — И всё же пойдёте?

— И всё же пойду. — Она высвободила руку мягко, но решительно. — Потому что я тоже устала от масок. И потому что у меня есть вопрос, на который я хочу ответ.

Он смотрел на неё долго, изучающе, и в глубине его глаз что-то шевельнулось — тёмное, старое, тяжёлое, как пласт породы под землёй.

— Вам не понравится ответ, — сказал он.

— Мне никогда не нравились лёгкие ответы.

Он подал ей руку. И, когда они пошли через зал, сквозь музыку, сквозь смех, сквозь бриллиантовый шум, — в этот самый миг, среди танцующих и смеющихся, Вивьен заметила то, от чего у неё остановилось дыхание.

Из рукава графа, когда он повёл рукой, приглашая слугу, — из-под чёрного бархата его сюртука — выскользнуло что-то маленькое, блестящее, с тонкой серебряной цепочкой.

Медальон.

Он упал на паркет, звякнул, покатился, и, прежде чем граф успел наклониться, Вивьен увидела: медальон был открыт, и в нём, под стеклом, лежал локон волос — светло-русых, почти белых, таких, какие бывают только у одного человека на свете.

Волосы Элоизы.

— Позвольте, — сказала она, и голос её не дрогнул, хотя внутри всё кричало. Она подняла медальон, подержала его в ладони, чувствуя, как холод золота пробирает до кости. — Вы носите прядь волос. Это память о женщине?

Граф взял медальон из её рук. Секунду он молчал. Потом улыбнулся — и в улыбке его было что-то такое, от чего у Вивьен заledenело под платьем.

— Это не память, — сказал он тихо. — Это — расписка. Я ещё не закончил с тем, что начал. И я рад, — он щёлкнул медальоном, закрывая его, — что вы пришли. Очень рад.

Он подал ей руку.

И Вивьен, сжимая в ладони ключ, вспоминая выжженную метку, дневник сестры и лицо слепого архивариуса, — шагнула за ним в малую столовую, где горели свечи, где пахло розами и пудрой, и где в воздухе, под запахами, плыло что-то другое.

Что-то, что уже ждало её.

— Туда? — спросила она, когда он отворил дверь.

— Туда, — ответил он.

И она вошла. И дверь за ней закрылась.

Париж, ноябрь 1702 года.

Северный ветер всё ещё был над городом, и в подвале дома на улице Нёв-Сен-Медар, среди свечей, зажжённых непонятно кем, стояла раскрытая шкатулка, обитая алым бархатом. На дне её лежал медный ключ с головкой в виде розы, и он был тёплым, как живая ладонь.

А в тридцати милях отсюда, в особняке герцога де Рокфора, за закрытой дверью малой столовой, женщина по имени Вивьен де Кормье поднимала взгляд на человека по имени Адемар де Сюлли, и между ними, на столе, среди свечей, стоял ларец тёмного дерева, окованный серебром.

Внутри ларца, на подушке из вытертого бархата, лежала маска Вратаря.

И маска эта была тёплая.

Как живая.

ГЛАВА 1. Маскаиз кожи

«Париж — город, где каждая истина, сказанная вслух, немедленно становится ложью. Говорите шёпотом — и тогда, быть может, вас услышат те, кому это нужно.»

— Из наставлений Дома Западных Врат

Малая столовая герцога де Рокфора помещалась в подвале особняка, и спуск к ней был устроен так, чтобы об этом никто не догадывался: за шпалерой, изображавшей охоту, начинался узкий коридор, который вёл вниз, под кухню, под винные погреба, под самый дом, туда, где уже не было ни окон, ни голосов сверху — только стены толщиной в два человеческих роста и воздух, тяжёлый от свечей.

Вивьен шла следом за графом по этому коридору, и каждый шаг отдавался в ней, как удар в пустоту. Она считала ступени. Тридцать две. На тридцать второй запах изменился: мёд, воск, остывшая кровь — тонкая смесь, от которой у человека без опыта свело бы скулы, а у Вивьен только сузились зрачки, как у зверя, почуявшего след.

— Вы чувствуете? — не оборачиваясь, спросил Сюлли.

— Воск. Мёд. — Она помедлила. — И ещё что-то. Что-то сладкое, но не из сладостей.

— Вы наблюдательны. — Он толкнул дверь, окованную железом. — Это хорошо. Наблюдательность здесь — первое, что вас спасёт.

Он не торопился открывать. Он стоял перед дверью, лицом к ней, и в полумраке коридора, в свете единственной свечи, его лицо было тем, чем оно было на самом деле, — не маской, а картой, по которой можно читать двадцать лет чужих дорог.

— Изабо. — Он произнёс её ложное имя так, как произносят слова, которые проверяют на вес. — Ты боишься?

— Я же сказала: я не боюсь.

— Боишься, — перебил он. — И это правильно. Знаешь, чему я научился за годы среди них? Бояться надо не тех, кто поднимает нож. Нож видно. Бояться надо тех, кто улыбается и гладит по руке — а режет потом, когда ты уже поверила, что вы вместе.

Он поднял руку и коснулся её щеки — кончиками пальцев, легко, как касаются того, что могут разбудить. Она не отстранилась. Она не знала, почему не отстранилась: потому ли, что ей было нужно, чтобы он верил ей, или потому, что под кожей, там, где не достаёт ни один нож, что-то отозвалось на это прикосновение — по-настоящему, не по роли.

— И всё же я иду, — сказала она. — Потому что вопросы, на которые я ищу ответы, лежат за этой дверью. А страх — плохой повод не входить.

Сюлли смотрел на неё долго. Потом медленно опустил руку.

— Тогда идём. — Он взялся за ручку. — И держи руки на столе. Здесь это лучший доспех.

Дверь отворилась, и Вивьен вошла в комнату, где двенадцать человек ждали её.

Первое, что она поняла, — что эротика здесь нет. В этом помещении, где пахло воском и мёдом, не было ни одной обнажённой женщины, ни одного развратного жеста. Это был зал для совета: длинный дубовый стол, свечи в тяжёлых серебряных канделябрах, двенадцать кресел, двенадцать масок на лицах. Мужчины и женщины, знать, судя по камзолам и платьям, — но знать, снявшая свои лица вместе с масками и теперь носившая другие, невидимые, те, что нельзя снять.

Вивьен заставила себя смотреть медленно. Запоминать. Она прошла к отведённому ей месту, когда граф подвёл её, и села, чувствуя на себе двенадцать взглядов — одни любопытные, другие изучающие, третьи пустые, как у тех, кто давно смотрит сквозь людей.

— Господа, — сказал Сюлли, садясь во главе стола. Голос его был спокоен, как у человека, который привык, что его слушают. — Я привёл гостью. Её зовут Изабо Дюплесси. Она вдова и у неё нет никого, кто мог бы за неё вступиться. Я думаю, она подходит нам.

Вивьен не стала дожидаться, пока за неё решат. Она подняла голову и посмотрела на двенадцать масок.

— Граф слишком добр, — сказала она, и голос её прозвучал в тишине, ясный, как стекло. — Я не вдова. Я была замужем три года, и муж мой умер при обстоятельствах, о которых я предпочитаю не говорить. У меня нет ни родовых связей, ни покровителей, ни страха. У меня есть только то, что вы видите, и то, что я умею. Этого достаточно, чтобы я сидела среди вас.

В комнате стало тихо. Кто-то из мужчин усмехнулся негромко, с уважением. Кто-то — женщина в маске с золотыми разводами — наклонила голову, как склоняют голову уважающие друг друга звери.

— Она говорит, как человек, который дорого себя ценит, — произнесла женщина. Голос у неё был низкий, с бархатными нотами, и в нём звенело что-то знакомое, что Вивьен пока не могла определить. — Это опасно.

— Это полезно, — ответила Вивьен. — Те, кто не ценит себя, не ценят и других.

— А вы цените других?

— Я умею их слушать. — Вивьен перевела взгляд на женщину и удержала его, не отводя. — А слушать умеют немногие. В этом салоне, я думаю, — двое: вы и я.

Женщина рассмеялась — коротко, с той особой интонацией, какой смеются люди, давно не смеявшиеся по-настоящему. И в этом смехе Вивьен вдруг услышала то, что искала: лёгкую, едва заметную хрипотцу. Хрипотцу человека, который слишком часто шептал проклятия и заклинания в темноте.

«Вдова», — подумала она. И сама не поняла, откуда пришло это слово. Но оно село в сознании, как садится на палец обручальное кольцо, — плотно и навсегда.

Ужин был долгий, вино — тёмное, густое, как кровь, и за этим ужином, среди звона бокалов и серебра, Вивьен впервые увидела, как выглядит власть, когда она снимает маску приличий.

Она сидела между Сюлли и женщиной с золотыми разводами, и от неё не укрывались те движения, которые не предназначались для чужих глаз: как рука мужчины с выдубленным лицом ложилась под столом на колено женщины с широко расставленными глазами; как женщина с жемчугом наклонялась к павлиньей маске, и губы её шевелились у самого уха, так близко, что их дыхания смешивались; как аббат, молчаливый, в тёмной сутане, обводил взглядом стол — не блуждающим взглядом священника, а спокойным, изучающим взглядом хозяина, пересчитывающего стадо.

Вивьен пила мало, слушала много и запоминала всё. Она знала: то, что происходит за этим столом, — не грех и не разврат. Это валюта. Деньги, земли, титулы и браки здесь меняли не на золото, а на знание — кто кому должен, кто кого боится, кто кого держит. И в этой валюте не было ничего мельче слова «навсегда».

— Ты не ешь, — заметил Сюлли, не поворачивая головы.

— Я ем, — ответила она. — Я просто не тороплюсь. Вдова, у которой умер муж, научилась не торопиться за столом: спешка — это слабость, а слабость здесь не прощают.

— Ты быстро учишься. — Он поднял бокал и посмотрел на неё поверх тёмного вина. — Это хорошо. Быстрых здесь уважают. И быстро съедают.

Ужин длился три часа. За эти три часа Вивьен молча вела расследование, которое привело её сюда, — и делала это так, как учили в Доме: не задавая вопросов, но слушая, не глядя, но видя.

Она узнала, что двенадцать масок — это не двенадцать человек, а пять семей: Рокфоры, Эгревиль, де Ла Рок, Монлюк и... Сюлли. Она узнала, что каждая семья владеет частью того,

что называется «кругом», — и что круг делится на внешний, который занимается оргиями, деньгами и соблазном, и внутренний, о котором не говорят вовсе. Она узнала, что сегодня вечером на столе будет не только ужин. На столе, после того как подадут второе, будет принято решение, и решение это касалось девушки.

Вивьен услышала это в обрывке разговора за её спиной — две женщины, маска с жемчугом и маска с павлиньим пером, шептались о ней, о девушке, и слово было одно: «принесут».

— Принесут сегодня? — спросила жемчужная маска.

— К полуночи, — ответила павлинья. — Говорят, из Нанта. Чистая. Ей тринадцать.

— Чистая, — повторила жемчужная, и в голосе её, под улыбкой, Вивьен услышала то, от чего у неё внутри всё сжалось: жадность. Не голод — жадность. Жадность человека, который давно перестал чувствовать разницу между вкусом вина и вкусом чужой крови. — Чистая хорошо. Чистая лучше. Чистая пахнет грозой.

— Тише, — сказала павлинья. — Здесь не для ушей.

— А для меня эти стены — всё равно что бумага. — Жемчужная усмехнулась. — Я и слышу, и вижу сквозь них. Не забывай, кто я в этом доме.

Вивьен не шевельнулась. Она продолжала есть, и в горле у неё кусок стал деревянным, но она проглотила его, не показывая, что слышала. Внутри, под корсетом, под бархатом, под кожей, — там, где не достал бы ни один гвоздь, — она почувствовала, как что-то выпрямилось, поднялось на дыбы и встало на страже, как старый волкодав, услышавший волчий вой.

«Тринадцать лет. Чистая. Принесут к полуночи.»

Она ничего не покажет. Она сделает вид, что пьёт вино. Она улыбнётся. А потом она найдёт способ оказаться там, куда принесут эту девочку.

В полночь ровно по залу прошёл шёпот, и двери в дальнем конце комнаты отворились.

Слуги внесли не девушку.

Они внесли два тела.

Первое было женщиной — молодой, лет двадцати, в разорванном платье из грубого холста, с чёрной повязкой на глазах. Она была бледна до синевы, но жива — жива, потому что руки её были связаны перед собой и кто-то держал её за локти, поддерживая.

Второе тело было мужчиной — и оно не нуждалось ни в повязке, ни в поддержке, потому что было мертво.

Вивьен узнала его по камзолу. Чёрный бархат с серебряной оторочкой, тот самый, в котором граф Адемар де Сюлли был на балу каких-то три часа назад.

Двойник.

В зале стало тихо так, что было слышно, как потрескивают свечи. Двенадцать масок обернулись, и на всех лицах, под всеми масками, проступило одно и то же выражение: не ужас, не гнев, а интерес — холодный, звериный интерес охотников, увидевших редкую дичь.

— Принесли, — сказала женщина с золотыми разводами, та, кого Вивьен мысленно называла Вдовой. — Вовремя. К полуночи, как обещали.

Вивьен смотрела на мёртвого двойника и не могла оторваться. У него было лицо Сюлли — то же самое, тёплое, с лёгкой небрежностью, — и вместе с тем другое: в нём не было той золотой крапинки в глазах, что она успела разглядеть на балу; глаза были закрыты, и потому сравнение не закончилось. Но главное было не в лице. Главное было на груди.

На груди мёртвого, поверх камзола, лежала рука — нет, не рука, отпечаток руки: метка, выжженная прямо на ткани, сквозь бархат, так, что ворс оплавился и спекся. Пять кругов. Точка в центре.

Знак ордена.

Тот же знак, что был на ладони Элоизы.

У Вивьен перехватило дыхание, но она не позволила себе ни звука. Она сидела среди двенадцати масок, и лицо её было спокойно, как лицо статуи, и только два кулака под столом сжались так, что ногти впились в ладони.

Она дала себе пять секунд. Пять ударов сердца, чтобы справиться со всем, что поднялось в ней: с ужасом, с яростью, с той ледяной ясностью, которая приходит к охотнику в минуту, когда он понимает, что дичь — не то, чем казалась. Потом она медленно, по-женски, поправила складку платья, взяла бокал, сделала глоток — вино было тёплое, густое, с привкусом железа — и посмотрела на Вдову спокойно, прямо, ожидая.

— Где наш граф? — спросила Вдова. Она не смотрела на тело. Она смотрела на Вивьен.

— Он остался наверху, — ответила Вивьен. Голос её был ровным, как струна. — Он привёл меня сюда и сказал, что у него дела. Два часа назад.

— Два часа назад он был здесь, — сказала Вдова. — Два часа назад он сидел за этим столом и разливал вино. И если вы говорите правду — то вы единственный человек, который видел его после этого.

Тишина стала вакуумом. Вивьен почувствовала, как двенадцать взглядов вонзились в неё, как двенадцать игл, — и в этой тишине она поняла, что решила правильно и что обмана не было: женщина с золотыми разводами не просто знала Сюлли. Она знала, что Сюлли вёл её сюда, и она проверяла — проверяла, за ним ли она пойдёт.

— Я говорю правду, — сказала Вивьен. — Но я вижу, что правда здесь течёт, как вода: сквозь пальцы. Вы спрашиваете, где граф, а сами держите на столе его труп. Вы не ищете его — вы проверяете меня. Хотите знать, потянусь ли я к кинжалу, увидев своих.

— И потянетесь?

— Я уже, — Вивьен медленно разжала кулаки и положила открытые ладони на стол, — показала вам всё, что вам нужно было увидеть. Я не дрогнула. Я не закричала. Я не убежала. Какую ещё проверку вы хотите?

Вдова долго смотрела на неё. Потом откинулась на спинку кресла, и в голосе её появилась та бархатная нота, от которой волосы шевелились на затылке.

— Хорошо, — сказала она. — Вы прошли первую. Теперь слушайте. То, что вы видели на балу и здесь, — это две стороны одной вещи. Сюлли — наш. Сюлли — ключ к тому месту, куда мы идём. А то, что лежит на столе, — это его тень. Его отражение. Его вторая кожа. Мы носим маски, Изабо, — и мы носим не только те, что куплены у венецианцев. Некоторые маски сшиты из кожи. Из кожи тех, кто нам мешает.

Она встала. Подошла к столу. Провела пальцем по оплавленной метке на груди мёртвого.

Вивьен смотрела, как её палец касается оплавившегося бархата, и в голове её, одна за другой, как пули, звенели мысли: метка нанесена не поверх камзола, не поверх ткани — она прошла сквозь неё, как проходят сквозь бумагу, оставляя ворс спекшимся, а тело под ним — обугленным. Для такой метки нужно не железо, не огонь, не руки. Нужно то, что старше огня. И тот, кто нанёс её, знал, что делает: он не просто отмечал тело — он закрывал его, как закрывают дверь — навсегда, чтобы изнутри не вернулось ничего.

— Это послание, — сказала Вдова. — Другу, которого у нас нет, и врагу, которого мы не видели. Кто-то знает наш круг изнутри. Кто-то выжёт на нашем человеке знак, которого мы не носим. И этот кто-то хочет, чтобы мы знали: он умеет находить нас, где бы мы ни были.

Она выпрямилась и медленно обвела взглядом двенадцать масок, остановившись на каждой на миг — так, как останавливаются, оценивая вес.

— И ещё одно, — сказала она. — Этот знак — не о том, что он ищет нас. Он о том, что он нас уже нашёл. Вопрос только — кто из нас будет следующим.

Тишина в зале стала такой плотной, что было слышно, как дышат свечи.

— А вы, — сказала она, повернувшись к Вивьен, — вы, которая только что пришла к нам и уже видела то, что видела не всякая из нас за десять лет. Как вы думаете — кто будет следующим?

Вивьен смотрела на метку, и внутри у неё всё сжималось в тугий узел. Пять кругов. Точка в центре. Она знала, кто умеет ставить такие метки. Она знала, что это умеют трое в ордене — Гарен, ушедшая мать и... ученик. Тот, кого потеряли. И она знала, что метка на груди двойника поставлена не руками Гарена — тот стар и осторожен, — и не матерью, ушедшей за Врата девяносто лет назад.

Оставался только один. Ученик. «Тень у Врат», как называл его Гарен.

— Знак поставлен плотно, — сказала она, не сводя глаз с тела. Это была не догадка — это была проверка: она говорила вслух то, что знала, и ждала, как это отзовется на чужих лицах. — Будто запечатывали дверь. Я видела такие метки в старых книгах. Их ставят не для того, чтобы пометить убитого. Их ставят, чтобы он не вернулся.

По залу прошёл шелест. Кто-то задвигался, кто-то замер. Вивьен не повернула головы, но боковым зрением увидела: человек в капюшоне — тот, кто стоял у дальней двери, — слегка наклонил голову, как наклоняют её, услышав то, что не ожидали услышать от новичка.

Вдова смотрела на неё долго, изучающе.

— Где ты этому научилась, Изабо? — спросила она. В голосе её не было угрозы — был только холодный, острый интерес.

— Муж мой был нотариусом, — сказала Вивьен, не моргнув. — У него были клиенты, которые приносили бумаги, которые лучше было бы сжечь. Среди них встречались и такие, что знали больше, чем положено. Немногому можно научиться, слушая за дверью человека, который думает, что он один.

— И ты слушала?

— Я вдова, — напомнила Вивьен. — Вдовы учатся слушать. Это единственное, что им оставляют.

Вдова усмехнулась — коротко, почти добро.

— Хорошо, — сказала она. — Умная вдова, которая умеет слушать, — редкость. Дорого. Возможно, ты и правда стоишь того, чтобы тебя сюда привели.

— Я не знаю этого знака, — сказала Вивьен, глядя Вдове в глаза. — Но я вижу, что он кого-то пугает. И я хочу знать, кто он, прежде чем скажу, готова ли остаться с вами.

Вдова улыбнулась. Улыбка у неё была как трещина в старой штукатурке — тонкая, глубокая и давняя.

— Вы умны, Изабо. Умны и осторожны. Это сочетание редко и дорого. — Она вернулась к столу, взяла бокал, подняла его, глядя поверх вина на Вивьен. — Тогда слушайте и запоминайте, потому что я скажу это один раз. Мы — круг. Мы — люди, которые взяли то, что им причиталось, потому что небеса были слишком скупы. Мы служим не Богу и не Дьяволу — мы служим силе, которая старше их обоих, силе, что лежит под Парижем, под землёй, под старым камнем, где бьётся сердце, которого нет на картах. Мы открываем ей двери. И она платит нам так, как не платят ни церкви, ни короли.

Она сделала глоток. Помолчала.

— Тот, кто ставит такие метки, — сказала она, — служит той же силе. Но он служит ей не так, как мы. Он хочет открыть Врата настежь и впустить всё. Мы хотим открывать их понемногу, чтобы брать, а не отдавать. Это и есть наш спор. И если бы я знала, кто он — я бы не сидела здесь: вы бы меня уже не видели.

Вивьен слушала, и внутри у неё медленно, как лёд на реке, сворачивалось то, что она знала, с тем, что она слышала. Вдова говорила о Вратах. О тех самых Западных Вратах, которые её орден сторожил тысячу лет. И Вдова говорила о них как о чём-то, что можно открывать, как дверь в кладовую.

Она смотрела на женщину с золотыми разводами, и в голове у неё звенело: «Она не знает, кто я. Она думает, что я — искательница приключений, вдова, которой нужны деньги и опасность. Она не знает, что я — та, кто стоит на границе, которую они собираются перейти.»

И в этот миг, в глубине зала, за спиной Вивьен, открылась маленькая дверь, и в неё вошёл человек — высокий, тёмный, в плаще с капюшоном, — и, войдя, не снял капюшона. Он прошёл вдоль стены, не глядя ни на кого, остановился у двери в дальнем конце и замер там, как статуя.

Тишина стала полной. Даже свечи, казалось, перестали трещать.

— А вот и он, — сказала Вдова, и в голосе её не было удивления. — О котором мы говорили. Тот, кто ставит метки. Мой гость. Мой... партнёр.

Вивьен смотрела на человека в капюшоне, и у неё внутри всё пело и выло одновременно. Она не видела его лица. Но она видела его руки. Белые, длинные руки с тонкими пальцами, сложенные на груди под плащом; на безымянном пальце правой руки — кольцо с чёрным камнем; и на запястье, чуть выше перчатки, — край старого шрама, похожего на след от ожога, повторявшего форму круга.

— Кто это? — спросила Вивьен, не сводя глаз с рук.

— Это тот, кто спасет нас, — ответила Вдова. — Или погубит. Пока неизвестно. Он пришёл к нам месяц назад и сказал, что умеет открывать Врата шире, чем мы. Мы проверили. Умеет. Но утром нашли это, — она кивнула на тело на столе, — и решили спросить у него, что это значит. Он пока не ответил.

Человек в капюшоне не шевелился. Вивьен не видела его глаз, но чувствовала: он смотрит на неё. Смотрит так, как смотрят опытные охотники, — издалека, со стороны, не выдавая себя, но уже оценив: вес, рост, скорость, страх.

— Вы знаете, что это за метка? — спросила она, обращаясь прямо к капюшону.

Тишина. Потом из-под капюшона раздался голос — низкий, сухой, будто кто-то вёл пальцем по стеклу.

— Это знак людей, которых вы, Изабо, называете хранителями. — Он произнёс это так, что у неё по спине побежали мурашки. — Они стоят на границе, которую мы хотим перейти. Они считают себя стражами. На самом деле они — единственное, что отделяет нас от того, что должно произойти. И сегодня ночью они сделали ход. Кто-то из них убил этого человека, — он кивнул на тело, — и оставил знак, чтобы мы знали: они пришли.

— И кто же из них?

— Это, — голос стал тише, почти ласковым, — я и хотел бы узнать. Когда узнаете — скажите мне. Я заплачу за это имя дороже, чем за всё, что вы видели в этом зале.

Он развернулся и вышел той же маленькой дверью, не оглянувшись.

Вивьен проводила его взглядом, и в груди у неё билось что-то горячее и тёмное. Она поняла две вещи, окончательно и бесповоротно. Первое: человек в капюшоне — ученик Гарена. «Тень у Врат». И он здесь, среди них. Она искала его, и он сам пришёл к ней. Пришёл, чтобы смотреть на неё и не узнавать.

Второе: он солгал. Метка на груди двойника была поставлена не рукой ордена — она была поставлена слишком плотно, слишком глубоко, слишком уверенно. Гарен ставил метки так, чтобы оставлять тела живыми, насколько возможно. Этот убийца ставил метку на мёртвого, как ставят печать на документ: чтобы он был настоящим. Ученик знал, что орден так не делает. И он знал, что она знает.

Третье, самое страшное, она осознала только сейчас, когда за ним закрылась дверь и воздух в зале снова стал обычным: он смотрел на неё не как на чужую. Он смотрел на неё так, как смотрят на человека, которого видели раньше и о котором уже всё решили. И в этом взгляде, в этой тишине, в этом спокойствии было что-то такое, от чего у неё холодели пальцы: его не интересовал её ответ. Его интересовало только одно — что она сделает дальше.

Вивьен сидела среди двенадцати масок, над телом человека, лицо которого носило тёплые карие глаза с золотой крапункой, и понимала, что вся эта ночь — бал, спуск, проверка, — была лишь первым слоем. Что под ней лежат другие, глубже, и что на самом дне лежит что-то, от чего у неё сжимается сердце, хотя она ещё не знает что.

Она подняла бокал. Улыбнулась одними губами.

— Тогда, — сказала она, — я, пожалуй, останусь. Здесь, по крайней мере, не скучно.

Ночью, вернувшись в дом Изабо Дюплесси на улице Турнель, она долго стояла у окна, глядя на город в огнях фонарей, и в руке у неё был не ключ, а листок — исписанный тем самым почерком, который она уже видела в дневнике сестры.

Она нашла его в кармане плаща, когда уже вышла из особняка Рокфора. Кто-то незаметно положил его туда. Кто-то, кто знал, где она будет, когда она уйдёт, и кто хотел, чтобы она прочитала это одна, в тишине.

Почерк был Элоизы.

«Вивьен. Если ты читаешь это — значит, ты уже вошла. Значит, ты уже видела то, о чём не говорят вслух. Значит, тебя уже проверили. И значит, ты уже знаешь, что маски не спасают.

Я оставила тебе ключ. Он от шкатулки, которую я взяла у женщины, чьё имя ты узнаешь, когда откроешь её. В шкатулке — не деньги и не письма. В шкатулке — кожа. Кусок кожи с меткой, снятый с тела человека, который был нашим, а стал их. Это — личина. Это — пропуск. Это — то, что тебе понадобится, когда они поймут, кто ты.

Не ищи меня. Я не мертва так, как вы думаете. Я — у Врат. Я — по ту сторону. И я вижу, что они открываются.

Они открываются, Вивьен. Не жди. Иди.»

Вивьен перечитала записку три раза. Потом свернула её в узкую полоску и засунула в потайной карман у пояса, рядом с ключом.

Она легла, но не сразу уснула. Она лежала на спине, глядя в потолок, и слушала город — тот Париж, который начинается тогда, когда заканчиваются свечи: скрип повозок, далёкий лай, шум ветра в трубах, и под всем этим, под этим обычным ночным шумом, — что-то другое, ровное, глубокое, как дыхание. Дыхание, которое не принадлежало ни одному человеку.

Она не знала, когда уснула. Она знала только, что сон пришёл не сразу — сон пришёл, когда она перестала сопротивляться тому, что уже знала всем телом: игра началась, и обратного хода нет.

За окном, над спящим Парижем, северный ветер нёс холод с Сены, и в этом холоде ей почудился запах — роз и пудры, смешанный с чем-то глубоким, тёмным, как подвал.

Она легла, не раздеваясь. И во сне ей снова снилась Элоиза — живая, в лунном свете, с локоном светло-русых волос, падающим на плечо.

— Ты нашла его? — спросила Элоиза.

— Кого?

— Того, кто носит мой волос. — Элоиза улыбнулась. — Он всё ещё носит его. Он носил его всегда. Ты узнаешь его, когда увидишь снова.

— Уже узнала, — сказала Вивьен. — Он носит твой волос, но у него чужие глаза.

— Проверь, — сказала Элоиза. — Проверь его руки. У того, у кого мой волос, — руки должны быть пусты. А у того, у кого чужие глаза, — на руках кольцо с чёрным камнем.

Вивьен проснулась, села на кровати. Рука сама потянулась к поясу, к записке.

Она не помнила, чтобы писала ответ — но на обороте записки, там, где секундой раньше была чистая бумага, теперь стояли слова. Её собственный почерк, её собственные слова, которых она не писала:

«Кольцо с чёрным камнем. Я видела его. Сегодня. На руке человека в капюшоне.»

И ниже, другим — нет, тем же, но дрогнувшим — почерком:

«Тогда он не тот. И тот, кто носит мой волос, — он ещё жив. И он — не тот, за кого себя выдаёт.»

Вивьен смотрела на эти слова, и в груди у неё билось что-то холодное и горячее одновременно. Она знала свой почерк — она выводила буквы много лет, обучаясь в Доме, — и она знала, что не писала этих слов. И всё же они стояли здесь, на бумаге, её рукой, её почерком, её словами, которые она не говорила и не думала.

Она не стала рвать записку. Она спрятала её в потайной карман, рядом с ключом, и долго сидела на кровати, глядя на свои руки — на те руки, которые, по её собственному убеждению, только что спали, а по чьему-то чужому убеждению — писали то, что должно было быть написано.

— Кто ты? — спросила она вслух, в пустоту комнаты. — Кто ты, что пишешь моей рукой?

Ответа не было. Но на подоконнике, там, где секунду назад ничего не было, лежала чёрная свеча, обгоревшая на треть, с оплывшим воском, в котором отпечатался след чужого пальца.

Вивьен не тронула её. Она знала, что это. Она знала, что это значит. Она знала, что за ней следят — не глазами, а иначе. И что тот, кто следит, умеет делать это так, что она не узнает, пока не станет поздно.

За окном начинало светать. Париж просыпался, и в нём, под ним, под камнями улиц и подвалами особняков, кто-то ровно дышал во сне — огромной, тёплой грудью, как дышат звери, которым ещё не время выходить.

Вивьен сидела на кровати, сжимая в руке листок, и понимала, что игра, в которую она вступила, началась раньше, чем она думала, и что правила её придуманы не людьми.

На рассвете того же дня, в мален

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.